ПРОЗА В ПУСТОТУ



ВОЙТ СОЛОМА

ПРОЗА В ПУСТОТУ

СБОРНИК РАССКАЗОВ

Собака Жуско

В старом срубе жил старик. У него были серьёзные проблемы с головой. Однажды он сошёл с ума, взял топор и напал на лес. Погибших было предостаточно.

Его внучка, девочка послушная, хозяйственная, приговаривала, сидя у окна:

— Мошки-мошки у дедушки в бошке!

И смеялась, паршивка.

Дед вернулся раскрасневшийся.

— Внучка, внучка-закорючка! — рассмеялся дед с такой силой, что посыпались слюнки.

Внучка подхватила подол платья и побежала в собачью конуру. Там, скомканный бочонком, лежал собака. Его звали Жуско. В семье пользовался авторитетом. Бывало, сам дед прислушивался к Жуско, сам просил у него совета в трудную минуту. Пёс, конечно, не говорил, но подавал голос.

Внучка заняла привычное себе место. Жуско собака воспитанный, свои фекалии уносил в небольшом целлофановом пакетике за двор. Там, где пробитая чем-то икона на огороде. Это упомянуто к тому, что внучка без особых предостережений села на землю. То есть не ощутила такой возможности своих действий, чтобы угодить в лепёшеньку.

Жуско лежал довольно деловой, спал. Очки, пожалуй, ему бы не подошли. Библиотеки в конуре также не было — пёс действительно самый обычный.

Внучка выглянула из будки, увидела, что деда нет, и залезла обратно.

— Дедуля совсем себя не помнит! — жаловалась она. — Совсем-совсем, Жуско! Он перестал покупать мне моё любимое бельё в том маленьком зелёном магазинчике «Фуникулёр».

Жуско насупился. Он начал гавкать.

— Нижнее, нижнее, Жуско, — сказала внучка. — Я ведь в тряпочках хожу! Стираю, вешаю высыхать. Чтобы высухонькое было. А пока высыхает — без белья хожу. Раньше я ведь носила две пары, а теперь, бедная я, в одной тряпочке!

Жуско положил лапу на другую. Его было хорошо видно из-за белого окраса шерсточки.

— Сучечко наш дед, — согласилась внучка, — да люблю его…

Жуско, по своей породе сдержанный, переходил на моветон. Внучка прижала колени к груди и внимательно слушала, точно боясь пропустить что-то важное. Время от времени Жуско прерывался на трапезу. Она у него происходила строго по графику и в определённом месте: он выходил из конуры, снимал цепь, шёл по бурьянам, по-щенячьи лаял от боли и проползал через дырёхоньку в заборе. Там была соседская сука. Свою трапезу Жуско никогда никому не показывал и не объяснял.

Внучка, наслушавшись премудростей, пошла в дом. Подол платья держала трясущимися пальцами, своими худенькими. Солнце светило прямо в глаза. Был ясный день. И после разговора с Жуско у внучки было приподнято настроение.

Отперев двери, внучка занесла ногу для прохождения через порог, однако не ступила: дед был дома. Он, кажется внучке, что-то плёл. А старик мог, так как работал в «Гларусах» — «Морских чайках». Опытный юнга, изчистивший не один борт.

Внучка прислушалась:

— ...Бульоном, говорит. Я не хотел сидеть, говорит, там. Бульона захотел, говорю. И что, говорю. Напал на лес — напишут у тебя там в подзаголовках, что я, говорю, что говорю. У меня на попечении внучка, говорю. У неё трусов нет, говорю...

Внучка удивилась, уши приподнялись. Она, сдерживая слёзки, побежала прочь со двора.

***

Жуско ещё не вернулся. Его конура без него самого выглядела искусственно, точно вырезанная и поверх наклеенная.

Внучка пребывала в испуге и истерике. Её маленькое сердечко изнывало на другой улице, в другом доме — у своей троюродной сестрицы. Сестрица всегда приласкает внучку, если то будет надобно.

Дед до сих пор не предавал попытки общаться с кем-то по радио. Он думал, что волна ловит его голосок и отправляет нужному человеку; что скажешь? — шарики за ролики. Его понять можно, но не нужно: мать умерла, отец повесился, потом мать матери повесилась и умерла. Повесилась большая часть Корнюшиных. В некоторых архивах это объясняется тем, что Корнюшины — род пугливый, слабёхонький, бедный, и не выдерживал посему страданий.

Жуско к Корнюшиным не относился. Вообще неизвестно, откуда он взялся, собака-то, — говорят, что бабке Корнюшине однажды принесли белого щенка, а она его отравила своей гадкой престарелой мочой. Тогда она и повесилась с горя.

Потом принесли деду Корнюшину белого огромного собаку. Сказали, зовут Жуско, да и убежали так, что обувь потеряли. Дед потом носил её несколько лет.

Жуско с тех пор живёт у Корнюшиных. Живёт самостоятельно, властно, величаво. Живёт да поживает.

***

Сестрица гладила внучку по волосам, утешала, шептала и сама чуть-ли не плакала.

— Всё будет хорошо, моя ты хорошенькая!

— Нет, нет, не будет! — через сопли говорила внучка, — дедушка меня совсем за животное считает! Даже собаку нашего, Жуско, уважает

больше, ценит да любит! А меня? Он не может купить мне тряпочки в том злосчастном «Фуникулёре»!

Внучка заплакала пуще прежнего.

— А ещё эта шизофазия у дедушки! — продолжала внучка. — Маразматик старый! Гнус!..

Сестрица прижала внучку к груди, полелеяла.

— Будь спокойнее. Нервные клетки не восстанавливаются, — сказала сестрица.

— Не знаю, к кому обратиться! — сказала внучка. — К Рыбацким-то — самой себе дрова рубать! Рубай дрова — щепки глотай!

Внучка стала свиноподобно выть. Очень страшно стало на душе сестрицы. Туман сгущался за окнами… А нет, не сгущался: день был ясным.

— Да, что дедушка с головой на старости лет не дружит — горе-горе. Но сама подумай: у тебя есть я. Я тебя всегда поддержу, чем смогу. Жуско есть. Сама ведь к нему обращаешься, кой-чего! Ну!

Внучка утёрла слёзы, которые, честно слово, надоели сестрице.

— Иди уже, мученицы ты моя! — прокаркала хриплым голосом сестрица, выдавливая плач.

Внучка повалила пьяным, неразборчивым шагом, ударились об косяк.

Пройдя половину пути, услышала странный гул какой-то машины. Ускорилась, перешла на бег трусцой. По глупости своей, по девичьей памяти, решила набрать многёхонько литров воды из местного колодезя. Надев на палочку два наполненных ведра, пошла домой.

Вывернув, наконец, из-за угла, где росла ветхая сирень, заметила до ужаса необъяснимую картину: молодой мужчина в глупом пальто, в шляпе с пером и неестественным лицом сидел в маленьком грузоподъёмнике, и, что странно, без груза на нём. То есть поднимать было нечего. Это напугало внучку: бросив вёдра, побежала прочь. Стало стыдно из-за лёгкости платьица на ветру.

Позвала дедушку; он взял охотничье ружьё и побежал к соседям через огород. Началась неразбериха. Послышались выстрелы, выкрики, стартовали различные гонения.

***

Прошло много минут. Настолько много, что их стоит перевести в часы.

Жуско бродил в лесу, в котором недавно произошло нападение. Стоял траур.

Теперь становится понятным, что часы тоже стоит перевести в другое измерение — дни.

Прошло более десяти дней.

Внучка к тому времени собрала все вещи и уехала в столицу. Деда арестовали и предъявили ему обвинение в убийстве двух и более лиц особо жестоким способом. Сестрица смогла признаться в своём проклёвывающемся фетишизме. Жуско сделал евроремонт в будке,

поставил солнечные панели и огородил их барельефным забором. Домёхонько продали Рыбацким.

Амос

Утро выдалось мучительным. У меня болела голова. Я запил таблетку вчерашней водой. Решил выйти на балкон. Открыл форточку, огляделся.

День выдался печальным. Мать жаловалась на плохое отношение врачей. Отец пребывал в запое. Я ему звонил, но он молчал и хрипел. Я вышел на балкон и, не оглядываясь, начал напевать песню. Не помню слова.

Вечер выдался жестоким. Головная боль ломила меня с ног. Огромные деревья как назло смотрели на меня через открытую форточку. Я решил выйти на балкон и закрыть форточку. Из-за своих действий в квартире стало тяжело дышать. Я пересилил себя и прилёг на диван, и закрыл глаза. Рядом лежала Библия. Я открыл случайную страницу.

«От меча умрут все грешники из народа Моего, которые говорят: "не постигнет нас и не придёт к нам это бедствие!"»

Я выдохнул с некой усталостью.

— Амос, девятая глава, десятый стих.

Горячая линия Ниццы

Красноволосая, худая да невысокая девушка стоит у трактирной стойки и смотрит на градацию розового, голубого и красного цветов, в этот момент играет громкая музыка с нарастающими басами; голова сама принимает такие траектории, она начинает двигаться так, чтобы не казаться глупой. У ней это выдаётся, полноте!

В её небольшом кармашке джинсов холодное оружие. Она прячет его и никому не показывает. Рядом стоит её менеджер по продажам. Он делает вид, что не знает девушку.

— Mec, cette fete est nulle! Чувак, это вечеринка отстой! — кричит она. Вокруг неё клаустрофобная сутолока.

— Quoi... qu'est-ce que tu dis? Что… что вы говорите? — отвечает менеджер, удивлённый. Он отставил свой напиток. Он смотрит в пол.

— Je, putain, hais ces gens! Я, бля, ненавижу этих людей! — кричит она. Она сунет руку в карман и намеренно там задерживается.

Менеджер невзначай шевелит плечами и говорит более высоким голосом, чем обычно:

— Oui. Да.

— Arrete tes conneries, face d'ivrogne! Хватит нести чушь, пьяная морда! — кричит она.

Менеджер молчит, воду в рот набравший.

— Toi, toi! Fagot! Il y en a des centaines ici! Ты, ты! Педик! Таких здесь сотни!

— Vous n'avez jamais ete aussi en colere... Ты никогда не была такой злой...

— Je suis en colere! T'es quoi, un trou du cul? Je te deteste! Je te deteste! Я сейчас злая! Ты что, придурок? Ненавижу тебя! Ненавижу тебя!

Менеджер хмурит брови, сжимая стакан, который попробовал отпить снова.

Девушка резко уходит.

— Ou allez-vous? Madame? Куда вы? Мадам? — спрашивает менеджер, едва ли не простирая руки ей вслед.

— Je vais aux toilettes, idiot! В уборную, идиот!

Пятое сентября

Эта история о молодом жизнерадостном хирурге, что вышел из больницы поздно ночью, в чёрной кожаной куртке, пятого сентября.

Всю дорогу его переполняла приятная боль в спине — отпечаток многочасовой операции, проведённой им совсем недавно. У пациента были все шансы остаться в живых и пойти на поправку, если, конечно, соблюдать определённые правила гигиены. Операция по меркам хирургии считалась крайне сложной, многоэтапной (в этом случае описывается завершающий) и строгой к внимательности и процессу. Хирург провёл в прожекторном свете более одиннадцати часов, ему помогали не менее стойкие коллеги.

Анестезиолог всё время рассказывал прибаутки, дабы скоротать время, и, казалось, оно действительно шло быстрее, чётче, правильнее. Все действия выполнялись хирургом слаженно, хотя он и понимал у себя в душе, что даже самая незначительная ошибка может привести к цепной реакции и стагнации жизнедеятельности организма вплоть до комы.

Маленькая ростом операционная медсестра, одна из двух, делала лёгкий массаж плеч (когда это позволяла ситуация), всегда улыбалась. Не зря таких медицинских сестёр называют «душой операционной».

Другая медсестра, серьёзная, имеющая возраст тётушка, поглаживала лоб пациента, что-то шёпотом приговаривала, очень быстро подавала инструменты; переживала так, словно на операционном столе лежал её ребёнок, но не позволяла опускаться до снисходительности.

В таком коллективе хирург проводил операцию успешно.

Интересно, верно, на ком проводилась эта до неверия удачная операция: на двадцатипятилетнем парне, в глубинах его утробы, не понять, где именно — на кишечнике, на желудке или селезёнке? Это останется без конкретики.

Хирург в дальнейшем планировал переквалифицироваться в микрохирурга, учиться сшивать тончайшими нитками органические ткани, спасать людей в запущенных ситуациях. В общем, хирург — молоток.

Но история совсем не о его достижениях — о пятом сентября. День, когда он вышел из больницы, ночью, в чёрной кожаной куртке. Вызвав такси, он сел на пустующую лавочку и принялся ждать. Спустя двенадцать минут такси забрало его и понесло вдоль красноглазой трассы. Обивка автомобиля настолько заглушала звук снаружи, что давила на уши. Таксист задавал хирургу странные вопросы о наркотических веществах и пытался убедить, яро и зло, что психоделический препарат отличается от опиата хотя бы тем, что не считается наркотиком. Дошло до того, что таксист начал рассказывать о способах получения некоторых из них, о своих многообещающих связях. Выслушав всё до последней капли, хирург сошёл на обочину около

заправки. Ленивые автомобили сдавали задом, работники общались между собой до боли естественно и по-родному, а хирург, напротив, стал понемногу ощущать ноющий упадок сил. Всё вокруг казалось ему собранным по некоему механизму, очень продуманному механизму, который нельзя раскусить.

Каждый его шаг не отражался каким-то давлением в ногах. Невесомость — не что иное. Но хирург, право, не глуп; сознание нарушения работы организма он спускал на послеоперационную усталость, а сенсорные галлюцинации, в первую очередь, из-за перенапряжения нервной системы.

«Завтра консилиум… Завтра меня ждёт консилиум и нужно пойти туда собранным, поглаженным, высыпанным… Высыпанным? Чем, сыпью? Нужно выспаться… Выпью успокаивающее, когда приду. А сколько ещё идти?.. Почему я остановился здесь, у обочины, возле леса? Таксист привёз меня сюда? Глупые зависимые люди… А я разве не зависим?.. Ну от чего ты можешь быть зависим, глупец! Голова, так болит голова, а я и не замечал… Точно: приду домой и выпью много таблеток. Ибупрофен?.. Много ибупрофена. Главное — не словить передозировку, конечно… Сколько?.. Ну, пойдёт штучек десять; пять на выгон болезни из тела через пот, а остальные пять, пожалуй… а остальные так, чтоб было!.. Побольше нужно выпить, лишним не будет. Я ведь не глупец… Смою меру знаю… Ох, совсем маленький, просто щенок, мальчик совсем. Куда он идёт? Так поздно ночью, один, ходит-бродит… рядом с лесом… Дурак. А я? А я тоже!.. Дурак, дурак… куда ты забрёл? Куда ты идёшь? Нужно срочно идти домой, срочно! Вызывать такси. Мне плохо, я брежу! Господи, я понимаю, что брежу! Это хорошо… может, остановиться тоже хорошо? Но здесь лес. Я попал в гущу леса. Какое несчастье!.. Идти прямо, на свет, только не стань пациентом сегодняшним…»

Хирург провёл в лихорадочном бреду тридцать минут. Он вышел на свет фар белого фургона, там его кто-то схватил за руку, ударил по рёбрам, по спине, а потом повалил на гнилые листья. Хирург моментально уснул, освежёванный. Это жестокое убийство, совершённое потусторонним человеком!..

Через десять дней — именно через столько нашли труп — хирург будет лежать на столе патологоанатома и улыбаться в застывшей судороге нескольких мышц, непонятно, что увидевший перед смертью и что видящий в эту секунду.

Поле в стихах

Я знаю, мною посеяно длинное поле, я возрасту высоким стеблем и окрикну поле: «Есть кто?»

В ответ услышу ветра гул. Какой я одинокий, возросший из семени, отступающий от обычных правил рождения. И в бога уже верить не хочется. Принять, только и это — принять. Я приму много вещей; у меня впереди ещё сотни-сотни тысяч лет рефлексии. Хотя, признаюсь, когда разговариваю со знакомыми и тонко намекаю им о своих переживаниях, меня осаждают. Вот так: «Остановись, остановись, приятель! Сядь».

Я сажусь — как-то в груди пустеет от этого. Они смотрят в мои глаза и зубы сушат. Да, и это всё происходит на середине поля! Я шатаюсь от ветра и общаюсь с ними.

Господи, я знаю, за что мне такая жизнь.

Лифт

Действующие лица:

Иван Михайлович.
Иван Гаврилович.
Иван Иванович.
Иван Денисович.

Застрявший лифт. Иван Михайлович, Иван Гаврилович, Иван Иванович, Иван Денисович стоят на одном месте с пакетами в руках. Слышатся усталые вздохи.

Иван Гаврилович (досадно). Третий час как в заточении…

Иван Денисович. Не то слово выбрали. Дети голодные, жена голодная. *(Поднимает пакет.)* Накупил разного рода угощений, думал… Эх, думал, поедим. Жена сядет за плиточку вечером да начнёт стряпать...

Иван Иванович (осторожно). Хорошо, когда дома ждут.

Иван Денисович (Ивану Ивановичу). А вы как живёте? *(Улыбается.)* Блюмфельд?

Иван Гаврилович (испуганно). Кто — я?

Иван Денисович. Да что вы! *(Оглядывает лифт.)* Вы тут и боком не к месту.

Иван Иванович (Ивану Денисовичу). Вы, видно, ко мне обращались… *(Глубоко вздыхает.)* Да, холостяком живу. Кушанье готовлю сам, будьте любезны.

Иван Гаврилович (Ивану Денисовичу). Нет, тоже сказали! Как это «и боком»?

Иван Денисович (Ивану Гавриловичу). Каком кверху! *(Выпячивает бок.)* Никаким вы своим существованием не причастны к нему!

Иван Иванович. Как вы свою мать после этого целуете? Негодяи! И так, как на пороховой бочке!

Иван Денисович (разъярённо). Да что «бочка»! Что «бочок»! *(Судорожно двигает руками.)* Что вы тут это самое!

Иван Гаврилович. Что вы из-за меня петушитесь? Успокойтесь, бога ради. *(Наивно смеётся.)* Лифтёры, быть может, сейчас ухахатываются там, слушая нас! А вы как…

Иван Иванович (перебивая, Ивану Гавриловичу). Вы вообще не влезайте! В самом деле!

Иван Гаврилович (Ивану Ивановичу). Кто вам дал право так со мной разговаривать? *(Закатывает рукава.)* Воспитание вам не дали?

Иван Иванович (Ивану Михайловичу). А вы что? Почему молчите? Язык проглотили? *(Краснеет.)* Крысоглот, сукин сын!

Иван Михайлович (бросая пакеты). У меня дочь!..

Занавес.

Негритянки

Свадьба. Город медленными глотками поглощал день. Сумерки лежали на небе и бездействовали, пока маленький музыкант настраивал фортепиано и бил коротенькой ногой по блестящему покрытию, когда у него что-то не получалось.

Супруги сидели за столом и пили вино.

Немного подвыпимши были все, кроме детей; дети сидели у ручья мёртвым скопом лягушек, иногда издавая общительные звуки. Конечно, ничего стоящего друг у друга они не узнавали — времени не было.

Женщина, которую никто на свадьбу не звал, пыталась включить гирлянды. Когда ей это удалось, она села на колени и её короткое платье растворилось. Ей пришлось быстренько убежать.

Негритянки остригали кусты, пытаясь создать интересную форму. У них это не выходило, думали супруги.

И вот маленький музыкант закричал: «Ничего! ничего не вижу!»

Негритянки исчезли.

Человек с большими губами и засаленной майкой нахмурился, указывая рукой на стол, мол, «вот же они». Его глаза выражали беспокойство. Он не понимал, почему люди ведут себя неподобающе. Он не понимал их мотивов и психологию.

Город, выпив день, стал высасывать вечер. Когда и вечер начал пузыриться на дне тонкой юшкой — город закрыл свой рот и ахнул: ночь он проглотил ещё перед поеданием утра.

Негритянки встали со своих столов в полной темноте и сказали:

— Объявляем свадьбу открытой.

«Interviu»

Я фотомодель испанского журнала «Interviu». Помню своего фотографа: жадный, извращённый отец троих детей. Однажды я легла на скалу и вытянула спинку — по его же указанию, — и фотоаппарат выстрелил белым светом десятки, десятки раз. А когда я потребовала увидеть получившийся результат, фотограф рассмеялся и показал мне всего лишь один снимок: на нём я плакала в обнимку с человеком, обёрнутым в плед.

Семидесятые, и на окраине Рима я обнимала свою маму после избиения её отцом. Отец молча снял нас. Но вот две мои сестры дёргают маму за плед, а она всхлипывает, не видя нас.

Сестроубийство

На закате молодую девушку привезла яркая красная машина, остановившись у кофейной лавки. Автомобиль хлопнул дверями и поехал вдоль дороги.

Девушка чешет свои волосы, залихватски улыбаясь. Каждый её шаг становится всё более мелодичным; с кофейни доносится музыка. Девушка раскачивается и шевелит пальцами, прыг-скок она делает! Прыг-скок она делает! Щипает своё платье и двигает ножками в чернющих гетрах! Волосы разлетаются в стороны, обвивая её улыбку и нос, и девушка сильнее улыбается, пока музыка нарастает.

Никто не знает причину её хорошего настроения.

Племя

Меня гостеприимно не разочаровало африканское племя. Дело в том, что я потерялся. Очень долго не мог найти помощи. Я кричал, я разрывал свои голосовые связки так, что спугивал экзотических птиц с зелёной листвы.

В какой-то момент на мой зов откликнулись: высокий, мускулистый чернокожий абориген с пером в носе. Он прыгал и указывал на небо. Причём его вид казался простым. У меня такая мысль появилась: «Возьму его за руку и объясню своё положение. Он отведёт меня к своему племени, те дадут мне еды. Я получу выгоду и ночлег. Так и сделаю!»

Я взял его за чёрную руку, он отпрянул.

— Отпусти!

Я оскалился:

— Ага! Значит, понимаешь мой язык! Черношкурый!

Он закружился на одном месте, его искусственная накидка слетела, оголив тело.

— Это не Африка! Это небо! Посмотри на небо!

Я посмотрел вверх, однако ничего не увидел; вместо неба — шерсть.

Шерсть. Что же это получается?..

— А… А где я тогда? Если это не Африка, а вместо неба у нас — шерсть, то что делать?

Абориген улыбнулся:

— Не переживай, мы тебя примем к себе в племя.

Мы пошли вглубь зарослей. Через минуту я увидел много чернокожих.

— Присаживайся, друг, — сказал абориген, указывая на небесную шерсть.

Я смутился, но виду не подал.

— Ты имеешь в виду, сесть на небо?

— Да.

Аборигены начали поднимать гам:

— Са-дись! Са-дись!

И зажглись костры, и только сейчас мои глаза увидели, что шерсть на небе полностью перекрывала солнце. О нет, сейчас будет тьма.

Аборигены силой подняли меня ввысь.

— Отпустите! — кричал я, — отпустите! Я не могу туда сесть!

Чернокожая женщина с обвисшей грудью засмеялась:

— Не может он! Са-дись! Са-дись!

Другие подхватили её смех.

Я остановился брыкаться и сказал:

— Кругом… тихий смех из-под земли.

Наваждения

Я стоял между входом на кухню и выходом в коридор, когда мои родители смеялись.

В их руках кружки, они наполнены алкоголем. Мама разделась излишне... Папа слушает противную музыку на жирном магнитофоне (от того, что вылил на него очень сладкий чай). Он любит пить чай и часто предлагает выпить его нам с мамой.

Мама подняла ногу и поставила её на стул, её формы погрубели из-за тени, отбрасываемой лампой. Мой папа не обратил на это внимания; мне известно о его измене с другой женщиной, такой как лягушка. Я имею в виду, что она некрасивая, а не как лягушка, конечно.

В аду зарождается...

В аду зарождается нечто на крутящейся платформе. Сначала видна его голова, обрамлённая красивой выпуклой шляпой, затем продолговатая шея, затылок, только вот что показанный зрителям. Его затылок был обросшим волосами, которые были подстрижены неаккуратно: самостришка. Потом плечи, сутулые, как у загнанной лошади. Грудь, гордая, но тоже кривенькая. Потом он встал на ноги свои, и крутящаяся платформа в виде кружка остановилась. Нечто вскинуло руки и побежало в сторону стекающей с разорванной лавы.

Религия

Старенькая женщина со своим четырнадцатилетним внуком стояла на асфальте, на асфальтированной обочине, на правой стороне от дороги. Они вышли пару минут назад из здания райисполкома. Бабушка была в приподнятом настроении: случилось что-то хорошее; вероятно, была поставлена галочка в важном деле, которое волновало её. Внук, напротив, ничего не ощущал. Ему скорее хотелось домой. Там бабушка приготовит ему вкусный обед.

Вот как оно бывает. Бабушка стояла в платочке, надевала его каждый раз, когда на улице было слишком прохладно для свободной головы. Внук однажды спросил её, почему же она не носит шапку. Бабушка ответила, но внук не запомнил. Да это и неважно.

Вереницы автомобилей летели мимо них, создавая волнообразный шум колёс. Бабушка рассказывала внуку нечто хорошее.

Тут они присмотрелись и насторожились: замедлилась белая машина, такая же старенькая. Водитель отворил окно. Кроме него, на пассажирском сидении находился пассажир.

— Вам куда?

— На З., будьте добры, — возрадовалась бабушка.

Внук стоял, молча смущённый происходящим. Щёки не розовы — бледны.

Им открыли задние двери. Бабушка села, внук сел.

— Нужно помогать людям, — сказал водитель, улыбаясь. Он был силён и бородат.

— Вы читаете Библию? — спросил пассажир.

Бабушка заулыбалась, зарумянились:

— Дома у нас есть.

— Дома есть? Читаете дома Библию? — настаивал водитель. — Читайте, бабушка.

Внук на заднем сидении уже представлял, как будет выпрыгивать из окна. Пока представлял — сидел истуканом.

— Пусть у вас всё будет хорошо, — послышалось от пассажира.

— Да, боженька вам поможет, — подхватил водитель.

***

Двери хлопнули. Внук и бабушка шли недалеко от своего дома.

— А у нас что, Библия есть? — спросил он.

Бабушка, с иронией, старчески и наивно:

— Нет, но что ж я скажу?..

Внук и замолчал.

Фотограф пастбища

Фотограф присел на жухлую летнюю траву шортами. Перед ним поднебесное пастбище. Каждая фотография получается сочной и съедобной. Только вот скотина, пасущаяся вдали, чем-то похожа на очерк художника и стремительно приближается, пожёвывая траву. Но подумает человек несмышлёный, что просто кажется.

Но я ведь знаю, что к фотографу они идут осмысленно.

Зонты на станции

На станции лежали люди, их яркие, вывернутые зонтики кружились от ветра и носились по асфальтному настилу. То девочки засмеются, то взрослые мужчины захохочут. Я пригляделся тогда, увидев, что трамвай вот-вот коснётся нашей станции. С целью помочь — начал созывать лежащих людей и кричать о прибытии трамвая.

Одна из женщин встала, наклонив голову в бок.

— Ложись вместе с нами. Смотри, как красиво выглядит моё платье в листьях, — говорила она. — Попробуй заснуть на земле. Я уверена, что полы твоего плаща зацветут.

Меня одолело недоумение:

— Трамвай подъезжает. Собирайте зонты, очищайте свои одежды, копошитесь!

Женщина не слушала меня. Она прошлась обратно и легла. Какая глупая, однако.

Мне стало плевать на их поведение: важнее, чтобы я был собран. И вот трамвай мчался к нам. Поглядите-ка! Я провожал его взглядом. Совсем чуть-чуть — и транспорт впустит меня к себе.

Так получилось, что трамвай проехал мимо станции, и люди рассмеялись.

Мокрая мозоль

Посвящается Софии

Мне с детства говорили, что я очень люблю обниматься. Очень-очень люблю — прямо спасения нет от меня, милого. И я это всегда признавал; надобно ли мне смущаться того, что приносит мне и другим удовольствие?

Одним утром мне было нечего делать. Я встал, подошёл к окну — вижу, там люди ходят, обнимаются, песни поют. Думаю себе: «Пойду-ка я к ним, обнимать их буду!»

Пошёл.

Увидев прохожего, начал яростно его обнимать, мол, оставь свои проблемы за спиной. Он оттолкнул меня и заулыбался.

— Парень, не стоит. Посмотри на свои руки, — сказал он мне, постоял минуту-другую и пошёл дальше своею дорогой.

Я посмотрел на руки: на ладонях, тут и там, мокрая мозоль.

Описание

Вокруг яркая зелень, по которой гуляют гуси. Низкие дома блестят своей крышей. Где-то стоит заржавевший трактор. Из покрывал дети смастерили домик: в него поместится до десяти человек. Небо обычное, но предвещает дождь.

По этому описанию слоняется девочка. Её красная юбка не шевелится, ибо нет ветра. Она останавливается и глубоко вдыхает, расплывается в улыбке и снова идёт. Руки её болтаются. Гуси бегают и что-то выясняют между собой; девочка смеётся заливисто.

Она села на травку и запела. Вдруг появились другие дети.

Понятное дело, девочка просто пошла домой. Завтра всё повторится, и день выделит для неё ещё одно описание.

Басенка

Я заяц, совсем недавно поменявший цвет шубки на белый, и за мной ведётся охота.

Я пригнулся у кустика и смотрю в глаза своему охотнику — высокий мужчина с ружьём, рыжий, тучный, смеющийся с моих прыжочков. Выстрелы летят мимо меня, и даже если он, дурак, попадёт в меня, я избегу смерти. Я считаю, главное, не расстраивать охотника, остальное — вторично.

Строители-песенники

Строители на стройке подкидывали танцующей девочке слузганные семечки. При этом говоря этой девочке в каком-то странном бинауральном ритме:

— У дороги… У дороги…

Девочка с лязгом брыкалась. Выпячивала ножки, ручки, кривила шею влево, а то и вправо, совершая танец. Танец был любительским.

— У дороги чиби-ис! — слышалось от строителей, — у дороги чиби-ис!

Девочка танцевала.

— О-он кричи-ит, волнуется, чуда-ак!

Строители, взобравшись на подвешенные на тросах плиты, сели на корточки. Посыпалась кожура подсолнечных семечек.

— Не кричи, крылаты-ый! Не тревожься зря ты-ы! Не-е войдё-ом мы в твой зелёный са-ад, — пела девочка, хотя ей было тяжело дышать.

Один из строителей своим гнусавым голосом пропел:

— Мы друзья пернаты-ых!

Девочка двигалась вроде необычно, а вроде и заучено. Она двигалась так, как двигается неумёха, у которой получилось сделать одно единственное действие правильно; с дуру и повторяет его.

— О скажите чьи вы-ы!.. О скажите, чьи вы-ы! и-и заче-ем идёте вы сюда!

Строители радовались.

«У дороги чибис! У дороги чибис! — он кричит, волнуется чудак. А скажите, чьи вы? А скажите, чьи вы? — и зачем идёте вы сюда? Не кричи, крылатый! Не тревожься зря ты! Не войдём мы в твой зелёный сад!»

Компот

Приятнее всего увидеть на своём кухонном столе, после рабочего дня, в тёмное время суток, компот. Он должен переливаться фиолетовыми и тёмно-розовыми цветами и быть таким же вкусным, как формалин. В одно мгновение ты отрываешься от липкой плавленной резины лета, бросаешь проблемы, запрятанные в карманах пиджака, на брусчатку. Прохладный компот утоляет сон. Честным будет сказать, что голод и жажду ничто не утолит уже никогда и ни за что. Этот компот должен стоять в прозрачной кружке, налитый, и свет от уличных фонарей обязан отбивать отблеск на его верхушке, создавая образ кувшинки. Кто-то из вас может предположить, что такая ассоциация повредит аппетит, якобы связывая компот с чем-то болотистым. Но кто из вас пил болото, что бы так выражаться?

Ничего личного в том, если посыпать болото (наваристое, оранжевое, оранжерейное) каким-нибудь слащавым порошком или сахарной пудрой. Потом открыть рот, отворить горло отдельным затвором и войти в болото, точно трактор ковшом, набить всю свободную полость (но оставить места для воздуха и процесса пережёвывания). Вы ощутите вкус не сразу — конечно! Дроблённая еда должна попасть на язык небольшими катышками; полностью набитый рот только надавит на стенки, создав неприятное жжение.

***

Высокий мрачный мужчина отпивает из своего стакана бульон компота. Его кадык почему-то подёргивается. В его голове депрессивных психоз, а в сердце — недостаточность. Нет, мне всё хватает! — что тебе не достаёт, сердце? Не зря люди пропускают в тебе одну букву при произношении. Мужчина перестаёт пить и ставит стакан обратно на стол. Он смотрит на потолок в надежде, что оттуда польётся компот, наполнив стакан. Потолок белый. Он открывает холодильник, как клешнями берёт банку с компотом. Когда он будет пить этот компот, его сухие с коростой губы почувствуют зелёный привкус солёных огурцов. Тьфу, тьфу, какая гадость! Его матерь снова всё напутала. Вот почему на кухне так неприятно пахнет металлом и аджикой. Мужчина открывает окно в слепом порыве неведомой любви к чему-то и прыгает, отпружинивает от карниза, расправляет плечи; тонкая прослойка кожи — кажется, крылья — ловят его, унося вдаль. Девушка, выгуливающая собаку, кричит и писается под себя.

Он приземляется на крышу гаража, подмышки сильно болят из-за того, что рудиментарные крылья оторвались от неказистых, смуглых, ровных плеч. Под мышцами, стеснённая кровью, летает моль. Её крылья щекочут слабо, но, вместе с душевной, доставляют ужасную боль. Мужчина не знает, как прогнать моль. Что она может поедать! Неужели я

посмел открыть рот, думал мужчина, и моль забралась туда? Он сделал себя немым и не своим, попробовал войти в особое состояние, когда своё тело кажется не подлинным.

Малиновая девушка

Болотный скелет вылезал мученическими усилиями. Я это увидел и, так как хорошо воспитан, не смог пройти мимо; помог этому болотному скелету. Им оказалась малиновая девушка, погибшая очень давно неизвестной смертью. Конечно, я про неё слышал, и даже с искренним интересом разглядывал кишечник, полный малины. Внезапная встреча очень удивила меня. Когда малиновая девушка полностью вылезла и облезла до гладкого состояния костей, я предпринял попытку поговорить с ней; первое время ничего не выходило, она молчала и смотрела на меня так, словно это я поместил её в болото много веков назад. Отношение малиновой девушки не злило — огорчало. Полная тишина.

— Для нас весь мир — неолит, — улыбнулся я.

Мои руки непроизвольно обняли её тазобедренный сустав. Не знаю, на что я рассчитывал в тот момент. Возможно, мне не хватало любви родителей в юношестве, и сейчас оно отображается в моём поведении, в моих интересах.

Малиновая девушка немного подгнила во время пребывания в болоте. Сохранился кишечник, похожий на коричневый трупный клубок животного; косточки свежей малины подгнили тоже. Была мысль, каким образом остатки органов соединены со скелетом: почему они в невесомости? Должно же быть логическое объяснение этой картине? Не замечающий странностей, каким стал в одно мгновение, я прижался к ней всем телом, своей плотью, набитой мягкой кровью. Я ощутил мутный холод её скелета. Её крючкообразный позвоночник хорошо повторял угол моего сколиоза.

Она впервые заговорила со мной. Сказала что-то нечленораздельное, иррациональное (как я понимаю сейчас, описывая это). В момент объятий не было ощущения, что она странна. Не было страха в груди, что она может навредить мне. Лишь клочком волос в воде, где-то в моём сознании, плавало вот что: желание покончить с собой и прервать это. Это... как бы сказать, как бы выразиться вектором? Ведь этот язык наг и смертен. Тогда же меня понесло в ужасные стороны ума. Я не мог подумать, что ум имеет свойство повреждать себя намеренно.

Кровоточа разумными ранами, она в один миг растаяла в моих руках, распалась на отдельные компоненты скелета, и малина усеяла почву над нами.

Одолела грусть, пропало желание содействовать, ласкать. Я сжимал один лишь череп малиновой девушки, а под моими ногами таилось её исподнее, сокровенное тельце. Когда-то она возрастёт кожей, мясом, венами, теплом, гормональной и репродуктивной системами. Она родит ребёнка от бесполого существа, будет принесена в жертву богам и какой-то наконечник стрелы ничем не покроется, пролежав в земле не одно тысячелетие.

Ответственность за деяния

Кто отвечал за каноэ? Кажется, это поручили тебе перед отплытием. Двое моих слуг оставили тебе звоночек, которым, если потянуть за нитку, можно сообщить о проблемах. Однако мы не слышали, чтобы ты звонил. Мы думаем, ты специально, для своей выгоды, ввиду эгоизма, не звонил, когда возникла беда с каноэ. Мы, конечно, можем попробовать это упустить. Просто расскажи нам, что произошло. Поднялся ветер? Или на тебя напали мародёры, отобрали каноэ, угрожая тебе, и сами уплыли на нём? Но сперва объяснись насчёт звоночка. Мои слуги, для того, чтобы ты им пользовался, плавали в далёкие земли джунглей, у водопада они сидели с ситом в руках, вылавливая маленькие кусочки руды. На самом деле, там богатая жила. Залежи стали и меди попадались так же часто, как волчьи ягоды, кортадерии и мезозойские папоротники. Понимаешь, какую вещь ты потерял из-за своей глупости? Нет, я уверен, ты не понимаешь. Ведь если наоборот, то сейчас бы ты умолял на коленях меня и моих слуг простить тебя, дать тебе второй шанс. Хотя, может, ты сознаёшь жалкие попытки задобрить нас. Как печален ты в свете дня, в таком трезвом состоянии. Мне, например, тебя совершенно не жаль. Что, наверно, хочешь услышать мнение моих слуг? Они считают ещё строже, друг. Мало того, что у нас исчезло каноэ (реликвия дедушки Острова), так ещё исчезла, требующая кары при потере, ценность. Исчезла вольфрамовая нить, на которой держался звоночек. Я могу представить, что нить порвалась, когда ты начал звонить, тем самым закрыв глаза на твой поступок, но это непозволительно делать, неблагочестиво и неблагородно. Мои слуги не хотят слушать про то, что данная ситуация может быть прощена. Скрижали Острова навсегда будут запятнаны моим по отношению к тебе легкомыслием. Подумать только! Ты не смог даже один раз побороть простодушие, халатно отнёсся к делу. К тебе больше нет доверия семьи и семья жалеет, что оно было. И дело совсем, друг, не в каноэ — дело в том, что ты остался в детстве, витаешь где-то у себя в мыслях, а все наши слова — которые, между прочим, на вес золота! — влетают в одно ухо, вылетают в другое, как пуля, как сера. Мы можем лишь улыбнуться вслед тебе, когда ты будешь уходить с котомкой в закат… Не полагай, что семья примет тебя. Наша вина в том, что мы вовремя не пресекли зачатки гадости, жившей в тебе, или, по-видимому, и являвшейся тобой по итогу. Ты всегда был немного болен; теперь ты будешь слегка одинок. Твоего любимого попугая мы скормим голодным кошкам. Прощаясь, мы вручим тебе нож, и ты сам решишь, что сделаешь с ним впоследствии.

Ноябрь 2024 — февраль 2025 гг.